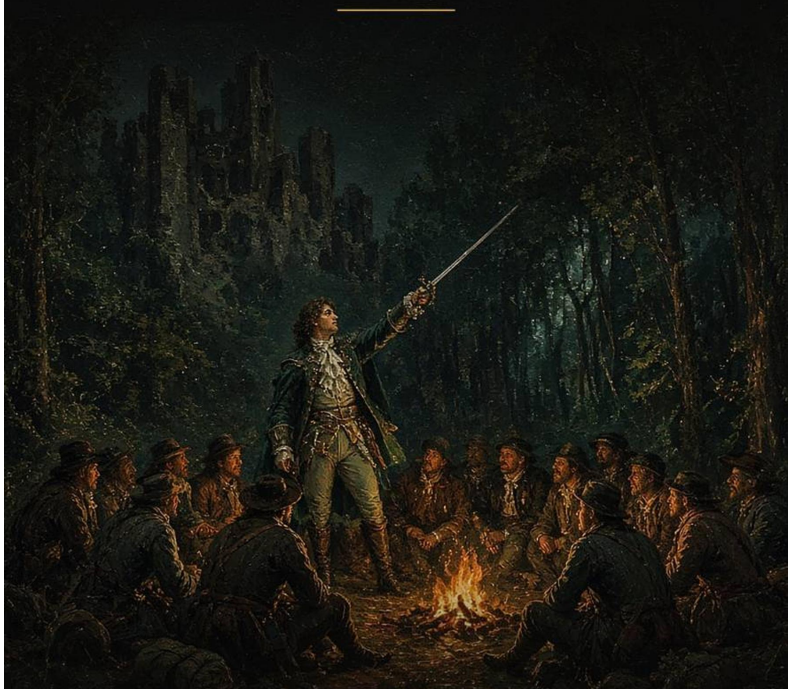


ФРИДРИХ ШИЛЛЕР



РАЗБОЙНИКИ

АУДИОТЕАТР ДЕМИДОВА

Фридрих Шиллер

Разбойники

<https://litres.ru/74683713>

SelfPub; 2026

Аннотация

Оклеветанный братом Карл Моор становится атаманом разбойников и объявляет войну несправедливому миру. Первая драма Шиллера, полная страсти и протеста, в новом переводе.

Содержание

Действие первое.	4
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Фридрих Шиллер

Разбойники

Действие первое.

Действующие лица:

Максимилиан, правящий граф фон Моор.

Карл Моор и Франц Моор — его сыновья.

Амалия фон Эдельрейх.

Шпигельберг, Швейцер, Гримм, Рацман, Шуфтерле, Роллер, Косинский и Шварц — повесы, впоследствии разбойники.

Герман — внебрачный сын дворянина.

Даниэль — домашний слуга графа фон Моора.

Пастор Мозер.

Патер.

Шайка разбойников.

Второстепенные лица.

Место действия — Германия; события охватывают около двух лет.

Предисловие.

Пусть эту пьесу принимают лишь за драматическую историю. Она пользуется преимуществом драматической формы — возможностью заставить душу за самыми тайными её дви-

жениями, — но не замыкается в пределах сценической пьесы и не гонится за сомнительным успехом на сцене. Со мной, полагаю, согласятся: нелепо требовать, чтобы за три часа были исчерпаны три незаурядные личности, чьи поступки зависят, быть может, от тысячи колёсиков. Да и самой природе вещей противоречило бы, если бы трое незаурядных людей за двадцать четыре часа раскрылись даже перед самым проникательным знатоком человеческих душ. Здесь было столько тесно переплетённых явлений действительности, что втиснуть их в узкие рамки Аристотеля и Баттё я никак не мог.

Однако изгоняет мою пьесу со сцены не столько её объём, сколько содержание. Само построение пьесы требовало вывести характеры, оскорбляющие тонкое чувство добродетели и возмущающие щепетильность наших нравов. С этим сталкивается всякий, кто изображает людей и хочет показать действительный мир, а не идеализированную выдумку и не людей, скроенных по учебнику. Так уж устроен мир: добрых оттеняют злые, а добродетель рядом с пороком обретает самые яркие краски. Тот, кто поставил себе целью сокрушить порок и отомстить врагам религии, нравственности и гражданских законов, должен обнажить порок во всей его мерзости и поставить перед человечеством во весь его исполинский рост. Ему самому придётся на миг пройти по его тёмным лабиринтам; придётся заставить себя вжиться в чувства, противоестественность которых возмущает его душу.

Порок здесь раскрывается вместе со всем своим внутренним механизмом. Во Франце он превращает смутные содрогания совести в бессильные отвлечённые рассуждения, оставляет от судящего чувства один скелет и шуткой заглушает серьёзный голос религии. Тому, кто дошёл до того, что изощрил ум ценой сердца, — славы, которой мы ему не завидуем, — уже ничто святое не свято. Человечество, Божество — для него ничто; оба мира ничего не значат в его глазах. Я попытался набросать точный, живой портрет такого изверга, разобрать по частям весь механизм его порока и проверить его силу правдой жизни. Читатель увидит дальше, удалось ли мне это. Думаю, я верно изобразил человеческую природу.

Рядом с ним стоит другой человек, который, возможно, поставит в затруднение немало моих читателей. Это дух, которого крайний порок манит лишь таящимся в нём *величием*, силой, которой он *требует*, и *опасностями*, которые ему сопутствуют. Человек примечательный, значительный, наделённый мощью, которая, смотря по своему направлению, неизбежно сделает из него либо Брута, либо Катилину. Злополучные обстоятельства толкают его ко второму, и лишь в конце чудовищных блужданий он приходит к первому. Ложные представления о деятельности и влиянии, избыток сил, переливающихся через край любых законов, не могли не столкнуться с общественным укладом и не разбиться о него. Стоило прибавить к восторженным мечтам о величии и великих делах озлобление на мир, столь далёкий от идеала,

— и перед нами тот странный Дон Кихот, которого мы в разбойнике Moore и ненавидим, и любим, которым восхищаемся и которого жалеем. Надеюсь, мне не нужно пояснять, что этот портрет обращён не к одним только разбойникам, как и сатира испанца бичует не одних только рыцарей.

Теперь вошло в *большую моду* упражнять остроумие за счёт религии: человека едва ли сочтут гением, если он не даст своему безбожному сатиру порезвиться над её святейшими истинами. Благородная простота *Писания* терпит надругательства от так называемых остряков на обычных светских собраниях: её искажают и выставляют смешной. Ведь что на свете столь свято и серьёзно, что нельзя было бы осмеять, исказив его смысл? Я смею надеяться, что достойно вступился за *религию* и истинную нравственность, представив самых мерзких из моих разбойников — этих дерзких хулителей Писания — на всеобщее отвращение.

И ещё одно. Те безнравственные характеры, о которых шла речь, должны были в чём-то блистать; более того, умом они нередко должны были приобретать то, что теряют сердцем. Здесь я словно слово в слово списал с натуры. На каждом, даже самом порочном человеке, в какой-то мере лежит печать божественного образа. Быть может, великому злодею до великого праведника не так далеко, как мелкому: нравственность идёт в ногу с человеческими силами. Чем шире способности человека, тем дальше и чудовищнее может завести его заблуждение и тем тяжелее вина за их извращение.

Адрамелех Клопштока пробуждает в нас чувство, в котором восхищение сливается с отвращением. За сатаной Мильтона мы следуем сквозь непроходимый хаос, поражённые и охваченные ужасом. Медея древних драматургов, при всех своих злодеяниях, остаётся великой женщиной, внушающей изумление. И шекспировский Ричард непременно вызовет у читателя восхищение, хотя тот возненавидел бы его, окажись Ричард перед ним во плоти. Раз я хочу изображать людей *целиком*, я должен показать и их достоинства, которых даже худший человек никогда не бывает лишён полностью. Если я хочу предостеречь от тигра, я не вправе умолчать о его прекрасной, ослепительной пятнистой шкуре: иначе в тигре не узнают тигра. К тому же человек, в котором одна только злоба, вообще не годится для искусства. Вместо того чтобы завладеть вниманием читателя, он отталкивает. Когда он заговорит, страницу перевернут. Благородная душа выносит непрерывный нравственный разлад не лучше, чем ухо — скрежет ножа по стеклу.

Именно поэтому я сам советовал бы не рисковать, ставя мою пьесу на сцене. И поэту, и его читателю нужна известная сила духа: поэту — чтобы не *приукрашивать* порок, читателю — чтобы не поддаться обаянию его привлекательной стороны и суметь разглядеть отвратительную подоплёку. О том, удалось ли это *мне*, пусть судит кто-то третий; но в *читателях* я не вполне уверен. Чернь, под которой я во все не подразумеваю одних лишь уличных подметальщиков,

расселилась, между нами говоря, весьма широко и, к несчастью, задаёт тон. Слишком близорукая, чтобы охватить *целое*, слишком мелкая духом, чтобы постичь *великое*, слишком злая, чтобы пожелать увидеть *доброе*, она, боюсь, почти сорвёт мой замысел. Возможно, ей вздумается найти здесь защиту порока, который я сокрушаю, и за собственную ограниченность она заставит расплачиваться бедного поэта, которому обыкновенно воздают чем угодно, только не справедливостью.

Вечно одно и то же — Абдера и Демокрит! Нашим добрым Гиппократам пришлось бы известить целые плантации чемерицы, вздумай они лечить это безобразие целебным отваром. Сколько бы друзей истины ни собралось наставлять сограждан с кафедры и со сцены, чернь не перестанет быть чернью, даже если солнце и луна переменятся, а небо и земля обветшают, как платье. Быть может, ради слабых духом мне следовало быть менее верным природе. Но если всем известный жук ухитрится отыскать навоз даже в жемчуге, если огонь, бывало, сжигал людей, а вода топила, — неужели за это нужно конфисковать жемчуг, огонь и воду?

Необычная развязка даёт мне право обещать своему сочинению место среди книг, учащих нравственности: порок получает конец, которого заслуживает. Заблудший возвращается на путь закона. Добродетель выходит победительницей. От того, кто поступит со мной по справедливости — прочтёт всё и постарается понять, — я жду не восхищения поэтом, а

уважения к честному человеку во мне.

Написано во время Пасхальной ярмарки. 1781 год.

Издатель.

Действие первое.

Сцена первая.

Франкония.

Зал в замке Мооров.

Франц. Старик Моор.

ФРАНЦ. Но хорошо ли вам, отец? Вы так бледны.

СТАРИК МООР. Совсем хорошо, сын мой. Что ты хотел мне сказать?

ФРАНЦ. Пришла почта. Письмо от нашего корреспондента в Лейпциге...

СТАРИК МООР. *С нетерпением.* Известия о моём сыне Карле?

ФРАНЦ. Гм... гм... Да. Но я боюсь... Не знаю, можно ли вам... Как ваше здоровье? Вам и вправду совсем хорошо, отец?

СТАРИК МООР. Как рыбе в воде! Он пишет о моём сыне? Откуда эта тревога? Ты уже дважды спросил меня.

ФРАНЦ. Если вы больны или хотя бы чувствуете, что можете заболеть, позвольте мне... Я поговорю с вами в другой раз. *Вполголоса, про себя.* Такие вести не для хрупкого тела.

СТАРИК МООР. Боже! Боже! Что же я услышу?

ФРАНЦ. Дайте мне сперва отойти в сторону и пролить слезу жалости по моему пропадающему брату. Мне следовало бы

молчать вечно — ведь он ваш сын. Мне следовало бы вечно скрывать его позор — ведь он мой брат. Но послушаться вас — мой первый, скорбный долг. Простите меня.

СТАРИК МООР. О Карл! Карл! Знал бы ты, как твоё поведение терзает отцовское сердце! Одна радостная весть от тебя прибавила бы мне десять лет жизни, вновь сделала бы юношей. А теперь каждая весть — ах! — подвигает меня на шаг ближе к могиле!

ФРАНЦ. Если так, старик, прощайте. Уже сегодня нам всем пришлось бы рвать на себе волосы над вашим гробом.

СТАРИК МООР. Останься! Остался всего один короткий шаг — пусть будет по его воле. *Садится.* За грехи отцов воздаётся в третьем и четвёртом колене. Пусть он довершит начатое.

ФРАНЦ. *Вынимает письмо из кармана.* Вы знаете нашего корреспондента! Смотрите: я отдал бы палец правой руки, лишь бы иметь право сказать, что он лжец, подлый, ядовитый лжец... Крепитесь! Простите, что я не даю вам самому прочесть письмо. Всего вам пока слышать нельзя.

СТАРИК МООР. Всё, всё, сын мой. Ты избавишь меня от костыля.

ФРАНЦ. *Читает.* «Лейпциг, первое мая. Если бы я не дал тебе нерушимого обещания не скрывать ни малейшей вести о судьбе твоего брата, дорогой друг, моё ни в чём не повинное перо никогда не стало бы твоим мучителем. По сотне твоих писем я знаю, как глубоко подобные известия ранят

твое братское сердце. Будто вижу, как ты льёшь слёзы из-за этого негодяя, этого мерзавца...» *Старик Моор закрывает лицо.* Видите, отец! Я читаю вам только самое мягкое... «...из-за этого мерзавца ты весь в слезах...» Ах, они текли, потоками лились по этой сострадательной щеке! «Будто вижу твоего старого, благочестивого отца, бледного как мертвец...» Иисусе, Мария! Вы уже побледнели, а ведь ещё почти ничего не узнали!

СТАРИК МООР. Дальше! Дальше!

ФРАНЦ. «...бледного как мертвец, падающего обратно в кресло и проклинающего день, когда ребёнок впервые пролепетал ему: „Отец“. Мне не захотели открыть всего, а из того немногого, что я знаю, ты узнаешь ещё меньше. Твой брат, кажется, уже наполнил чашу своего позора до краёв. Во всяком случае, я не могу вообразить ничего хуже того, что он совершил, — разве только его дарование в подобных делах превосходит моё воображение. Вчера в полночь он принял великое решение: наделав долгов на сорок тысяч дукатов...» Недурные карманные деньги, отец! «...предварительно лишив девственности дочь здешнего богатого банкира и смертельно ранив на дуэли её поклонника, достойного молодого человека из знатной семьи, он вместе с семерыми приятелями, которых втянул в свою распутную жизнь, решил ускользнуть от правосудия». Отец! Ради бога, отец! Что с вами?

СТАРИК МООР. Довольно. Перестань, сын мой!

ФРАНЦ. Я щажу вас... «Вслед за ним разослали розыск-

ные листы. Оскорблённые громко требуют удовлетворения. За его голову назначена награда. Имя Моор...» Нет! Пусть мои несчастные губы никогда не станут убийцами отца! *Разрывает письмо.* Не верьте этому, отец! Не верьте ни единому слову!

СТАРИК МООР. *Горько плачет.* Моё имя! Моё честное имя!

ФРАНЦ. *Бросается ему на шею.* Бесчестный, трижды бесчестный Карл! Разве я не предчувствовал этого ещё тогда, когда он мальчишкой увивался за девчонками, носился по лугам и горам с уличными сорванцами и всяким сбродом, бежал от церкви, как преступник от тюрьмы, а монеты, которые вымучивал у вас, бросал в шапку первому попавшемуся нищему, пока мы дома укрепляли душу благочестивыми молитвами и святыми книгами проповедей? Разве я не предчувствовал этого, когда он предпочитал читать о приключениях Юлия Цезаря, Александра Великого и других дремучих язычников, а не историю раскаявшегося Товии? Сотню раз я вам предсказывал — ведь моя любовь к нему всегда оставалась в границах сыновнего долга: этот мальчик ещё всех нас ввергнет в беду и позор! О, если бы он не носил имени Моор! Если бы сердце моё не билось за него так горячо! Эта нечестивая любовь, которую я не могу искоренить, однажды ещё обвинит меня перед судом Божиим.

СТАРИК МООР. О мои надежды! Мои золотые мечты!

ФРАНЦ. Знаю, знаю. Об этом я и говорю. «Пламенный

дух, что пылает в мальчике, — всегда говорили вы, — делает его таким чутким ко всему великому и прекрасному. Эта открытость, с которой душа отражается в его глазах; эта мягкость сердца, от которой при виде чужого страдания он тает в слезах сочувствия; это мужество, что гонит его на вершины столетних дубов, через рвы и частоколы, сквозь бурные реки; это мальчишеское честолюбие, это несокрушимое упрямство и все прочие прекрасные, блистательные добродетели, что прорастают в отцовском любимце, — всё это однажды сделает его верным другом, превосходным гражданином, героем, великим, великим человеком». Теперь видите, отец? Пламенный дух развернулся во всю силу и принёс замечательные плоды. Поглядите, как мило открытость обернулась наглостью; как нежно эта мягкость воркует с кокетками, как тонко чувствует прелести Фрины! Поглядите, как этот пламенный гений за какие-то шесть лет дочиста выжигает масло своей жизни и теперь бродит по свету живым мертвецом, — а люди ещё имеют дерзость говорить: «Это любовь его таким сделала!» Ах, полюбуйтесь на эту отважную, предприимчивую голову: она задумывает и осуществляет планы, перед которыми меркнут подвиги Картуша и Говарда! А когда эти великолепные задатки созреют окончательно — ведь разве можно ждать совершенства в столь нежном возрасте? — быть может, отец, вам ещё выпадет радость увидеть его во главе войска, расположившегося в священной тишине лесов и облегчающего усталому путнику поклажу наполовину.

Быть может, прежде чем сойти в могилу, вы ещё совершите паломничество к памятнику, который он воздвигнет себе между небом и землёй. Быть может... Отец, отец, отец! Подыщите себе другую фамилию, иначе торговцы и уличные мальчишки, видевшие портрет вашего господина сына на рыночной площади Лейпцига, станут показывать на вас пальцами.

СТАРИК МООР. И ты, мой Франц, и ты тоже? О дети мои! Как вы метите мне в сердце!

ФРАНЦ. Видите, я тоже умею острить. Только мои остро-ты жалят, как скорпион. А этот сухой обыватель, холодный, деревянный Франц — какими ещё прозвищами вы меня награждали, сравнивая с ним, когда он сидел у вас на коленях или щипал вас за щёки? — однажды умрёт среди межевых камней своих владений, истлеет и будет забыт. А слава этого всеобъемлющего ума полетит от полюса до полюса! О, сложив руки в молитве, благодарит тебя, небо, холодный, сухой, деревянный Франц — за то, что он не такой, как этот!

СТАРИК МООР. Прости меня, сын мой. Не сердись на отца, обманувшегося в своих надеждах. Бог, посылающий мне слёзы из-за Карла, твоей рукой осушит их, мой Франц.

ФРАНЦ. Да, отец, он осушит их. Ваш Франц отдаст жизнь, лишь бы продлить вашу. Ваша жизнь для меня — оракул, у которого я прежде всего ищу совета, когда решаю, как поступить; зеркало, в котором я вижу всё на свете. Нет для меня долга столь священного, чтобы я не нарушил его

ради вашей драгоценной жизни. Вы мне верите?

СТАРИК МООР. На тебе ещё лежат великие обязанности, сын мой. Да благословит тебя Бог за всё, чем ты был для меня и чем ещё будешь!

ФРАНЦ. А теперь скажите: если бы вам не приходилось называть этого сына своим, вы были бы счастливы?

СТАРИК МООР. Тише, о, тише! Когда повитуха подала мне его, я поднял его к небу и воскликнул: «Разве я не счастливый человек?»

ФРАНЦ. Так вы сказали. А теперь убедились? Вы завидуете самому последнему из своих крестьян: ему не приходится быть отцом такого сына. Пока он у вас есть, вам не избавиться от горя. Это горе будет расти вместе с Карлом и подточит вашу жизнь.

СТАРИК МООР. О, из-за него я уже стал восьмидесятилетним стариком.

ФРАНЦ. Так что же, если бы вы отказались от этого сына?

СТАРИК МООР (*вскинувшись*). Франц! Франц! Что ты говоришь?

ФРАНЦ. Разве не любовь к нему причиняет вам столько мук? Без этой любви его для вас нет. Без этой греховной, этой проклятой любви он для вас умер — он для вас никогда не рождался. Отцами и сыновьями нас делают не плоть и кровь, а сердце. Перестаньте его любить — и этот выродок больше не ваш сын, пусть даже он вырезан из вашей собственной плоти. Прежде вы берегли его как зеницу ока. Но

если глаз твой соблазняет тебя, сказано в Писании, вырви его. Лучше войти в рай с одним глазом, чем с двумя попасть в ад. Лучше войти в рай без сына, чем обоим — и отцу, и сыну — низвергнуться в ад. Так говорит Бог!

СТАРИК МООР. Ты хочешь, чтобы я проклял сына?

ФРАНЦ. Нет, что вы! Нет! Своего сына проклинать не надо. Но кого вы зовёте сыном? Того, кому вы дали жизнь, а он изо всех сил старается укоротить вашу?

СТАРИК МООР. О, это слишком верно! Это мне наказание. Господь велел ему так поступить!

ФРАНЦ. Вот видите, с какой сыновней нежностью обращается с вами ваше любимое дитя. Он душит вас, пользуясь вашей отцовской заботой, убивает вас вашей же любовью; он подкупил ваше отцовское сердце, чтобы с вами покончить. Не станет вас — и он хозяин ваших владений, властелин своих страстей. Плотины рухнут, и поток его желаний хлынет без удержу. Представьте себя на его месте! Как часто он, должно быть, желает увидеть в могиле отца — и брата: ведь они так безжалостно стоят на пути его бесчинств. Так ли отвечают любовью на любовь? Такова ли сыновняя благодарность за отцовскую доброту? Ради сладострастной прихоти, длящейся миг, он жертвует десятью годами вашей жизни! Ради минутного наслаждения ставит на карту добрую славу предков, которую они хранили незапятнанной семь столетий! И его вы называете сыном? Отвечайте! Такого человека вы называете сыном?

СТАРИК МООР. Неласковое дитя! Ах, но всё же моё дитя! Моё дитя!

ФРАНЦ. Милое, драгоценное дитя, которое только и думает о том, как бы остаться без отца. О, если бы вы наконец поняли! Если бы с ваших глаз спала пелена! Но своей снисходительностью вы лишь укрепляете его в распутстве, а своим покровительством словно даёте ему на это право. Вы снимете проклятие с его головы и примете его на свою. На вас, отец, на вас падёт проклятие вечной гибели.

СТАРИК МООР. Справедливо! Совершенно справедливо! Во всём виноват я, один я!

ФРАНЦ. Сколько тысяч людей, упившихся из чаши сладострастия, исправились благодаря страданию! Разве телесная боль, сопровождающая всякое излишество, не указывает на волю Божию? Неужели человек должен своей жестокой нежностью идти против неё? Неужели отец должен навеки погубить то, что ему доверено? Подумайте, отец: если вы на время предоставите его собственным бедам, ему придётся либо одуматься и исправиться, либо и в великой школе страдания остаться негодяем. И тогда — горе отцу, который своим потаканием разрушил замысел высшей мудрости! Ну что, отец?

СТАРИК МООР. Я напишу ему, что больше не протяну ему руки.

ФРАНЦ. Вы поступите правильно и разумно.

СТАРИК МООР. И что он больше не должен показывать-

ся мне на глаза.

ФРАНЦ. Это пойдёт ему на пользу.

СТАРИК МООР (*с нежностью*). Пока он не станет другим!

ФРАНЦ. Конечно, конечно. Но что, если он явится под маской лицемера, слезами выпросит ваше сострадание, лезть добьётся прощения, а назавтра будет смеяться над вашей слабостью в объятиях своих шлюх? Нет, отец! Он вернётся по собственной воле, когда совесть скажет ему, что он исправился.

СТАРИК МООР. Тогда я сейчас же ему напишу.

ФРАНЦ. Постойте! Ещё одно слово, отец. Боюсь, в негодовании вы напишете ему что-нибудь слишком суровое и разобьёте ему сердце. И потом... Не думаете ли вы, что он уже сочтёт себя прощённым, если вы удостоите его письма, написанного собственной рукой? Лучше предоставьте это мне.

СТАРИК МООР. Сделай это, сын мой. Ах, у меня самого сердце бы разорвалось! Напиши ему...

ФРАНЦ (*быстро*). Значит, вы решили?

СТАРИК МООР. Напиши ему, что я пролил тысячу кровавых слёз, провёл тысячу бессонных ночей... Только не доводи моего сына до отчаяния.

ФРАНЦ. Не хотите ли лечь, отец? Вас это тяжело потрясло.

СТАРИК МООР. Напиши ему, что отцовская грудь... Я

тебе говорю: не доводи моего сына до отчаяния.

Печально уходит.

ФРАНЦ (*глядя ему вслед и смеясь*). Утешься, старик: больше ты никогда не прижмёшь его к этой груди. Дорога к ней для него закрыта так же наглухо, как небеса для ада. Его вырвали из твоих объятий прежде, чем ты успел понять, что сам мог бы этого захотеть. Я был бы жалким неумехой, если бы не сумел оторвать сына от отцовского сердца, пусть даже он прикован к нему железными цепями. Я окружил тебя заколдованным кругом проклятий, и ему через этот круг не переступить. Поздравляю, Франц! Любимчика больше нет. В лесу стало светлее. Надо подобрать остальные бумаги: кто-нибудь ещё узнает мой почерк. *Собирает обрывки разорванного письма.* А горе скоро сведёт в могилу и старика. И из её сердца мне придётся вырвать этого Карла, пусть даже вместе с ним уйдёт половина её жизни.

Я имею полное право негодовать на природу и, клянусь честью, предъявлю ей счёт. Почему я не вылез из материнского чрева первым? Почему не родился единственным? Зачем она навьючила на меня эту ношу уродства? Именно на меня? Будто при моём рождении пустила в дело всё, что у неё осталось! Почему именно мне достался лапландский нос? Именно мне — маврская пасть? Эти готтентотские глаза? Право, кажется, она свалила в одну кучу всё безобразное, какое нашла у разных народов, и вылепила из этой кучи меня. Проклятье! Кто дал ей право одарить другого тем,

в чём она отказала мне? Разве мог кто-нибудь ухаживать за ней ещё до своего рождения? Или обидеть её, ещё не появившись на свет? Почему она оказалась так пристрастна?

Нет! Нет! Я несправедлив к природе. Она ведь дала нам изобретательный ум, поставила нас нагими и нищими на берег этого великого океана — мира. Плыви, кто умеет плавать, а неуклюжий пойдёт ко дну! Мне она ничего не дала. Кем я захочу стать — теперь моё дело. У каждого равное право и на великое, и на малое: притязание сталкивается с притязанием, стремление — со стремлением, сила — с силой. Право на стороне того, кто одолел; пределы нашей силы — вот наши законы.

Правда, люди заключили кое-какие общие договоры, чтобы двигать мировой круг. Честное имя! Ценная монета: кто умеет пустить её в ход, тот ловко ею торгует. Совесть — о да, конечно! Отличное пугало, чтобы отгонять воробьёв от вишен! А ещё — исправно выписанный вексель: с ним при нужде даже банкрот сумеет выкрутиться.

И в самом деле, весьма похвальные установления: держать глупцов в почтении, а чернь — под башмаком, чтобы умным жилось вольготнее. Ничего не скажешь, презабавные установления! Напоминают мне изгороди, которыми мои крестьяне так хитро обносят поля: только бы заяц не перепрыгнул, упаси бог, ни один заяц! А милостивый господин прищипорит вороного и легко проскачет по полю, где ещё недавно зрел урожай.

Бедный заяц! Жалкая всё-таки роль — быть зайцем на этом свете. Но милостивому господину нужны зайцы!

Так смелее — через все преграды! Кто ничего не боится, не менее могуществен, чем тот, кого боятся все. Нынче модно носить на штанах пряжки: захочешь — затянешь потуже, захочешь — распустишь. Закажем себе совесть по последней моде и будем отпускать пряжки по мере того, как станем толстеть. Что тут поделаешь? Ступайте к портному! Я вдоволь наслушался болтовни о так называемой кровной любви — от неё у добропорядочного хозяина кровь закипит. «Это твой брат!» В переводе значит: он выскочил из той же печи, что и ты, — стало быть, почитай его как святыню! Взгляните только на этот мудрёный вывод, на этот потешный переход от близости тел к согласию душ, от общего происхождения — к общим чувствам, от одинаковой пищи — к одинаковым склонностям. Но дальше: «Это твой отец! Он дал тебе жизнь, ты — его плоть и кровь, стало быть, почитай его как святыню». Опять ловкий вывод! Хотел бы я спросить: почему он произвёл меня на свет? Уж не из любви же ко мне, которому ещё только предстояло стать собой? Знал ли он меня прежде, чем произвёл на свет? Думал ли обо мне, когда производил? Желал ли именно меня? Знал ли, кем я стану? Не советовал бы ему отвечать утвердительно: я ещё взыщу с него за то, что он всё-таки произвёл меня на свет. Могу ли я благодарить его за то, что стал мужчиной? С тем же правом я мог бы обвинить его, если бы он сделал из меня женщи-

ну. Могу ли я признать любовь, которая не основана на уважении к моему «я»? Но как можно было уважать моё «я», если оно ещё только должно было возникнуть, а уважение будто бы должно было предшествовать ему? Так в чём же тут святость? Может быть, в самом действии, от которого я произошёл? Словно оно не обычный животный способ утолить животную похоть! Или, быть может, в результате этого действия? Но результат — лишь железная необходимость, от которой с радостью избавились бы, не приходись платить за это плотью и кровью. Мне ещё благодарить его за то, что он меня любит? Это его тщеславие, любимый грех всех творцов: они любят своё творение, будь оно хоть самым уродливым. Вот и всё колдовство, которое вы окутали священным туманом, чтобы воспользоваться нашей робостью. Неужели и я позволю водить себя на помочах, как мальчишку?

Так за дело, смелее! Я вырву с корнем всё, что меня стесняет и мешает мне стать господином. Господином я должен стать, чтобы силой добыть то, чего мне не добыть обаянием.
Уходит.

Сцена вторая.

Трактир на границе Саксонии.

Карл Моор *углубился в книгу*. Шпигельберг *пьёт за столом*.

КАРЛ МООР. *Откладывает книгу*. Меня тошнит от этого века, заляпанного чернилами, когда я читаю у Плутарха

О великих людях.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Ставит перед ним стакан и пьёт.* Почитай Иосифа Флавия.

КАРЛ МООР. Погас пылающий огонь Прометея, и теперь пламя добывают из порошка плауна — театральный огонь, от которого даже трубку не прикуришь. Вот они и копошатся, точно крысы на палице Геркулеса, и ломают голову над тем, что за штука таилась у него в яйцах. Французский аббат учит, будто Александр был трусом; чахоточный профессор при каждом слове подносит к носу пузырёк с нашатырём и читает лекцию о силе. Типы, которые падают в обморок, зачав сына, придираются к тактике Ганнибала; молокососы выуживают красивые фразы из битвы при Каннах и ноют из-за побед Сципиона, потому что им приходится разбирать их на уроке.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Ну и разнылся ты — совсем как Александр!

КАРЛ МООР. Прекрасная награда за пот, пролитый на поле битвы: теперь вы живёте в школьных учебниках, а ваше бессмертие с трудом таскают на книжном ремне. Достойное возмещение за пролитую кровь: нюрнбергский торговец заворачивает пряники в страницы о вас; или, если повезёт, французский трагик взгромоздит вас на ходули и задёргает за проволочные нити. Ха-ха-ха!

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Пьёт.* Почитай Иосифа Флавия, прошу тебя.

КАРЛ МООР. Тыфу! Тыфу на этот вялый, выхолощенный век! Он ни на что не годен, кроме как пережёвывать деяния прошлого, терзать героев древности комментариями да уродовать их трагедиями. Сила его чресел иссякла, и теперь для продолжения человеческого рода ему нужны пивные дрожжи.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Чаю, брат, чаю!

КАРЛ МООР. Они отгораживаются от здоровой природы нелепыми условностями; у них не хватает духу осушить стакан, если нельзя при этом выпить за чьё-нибудь здоровье. Они заискивают перед чистильщиком сапог, чтобы тот замолвил за них слово перед его милостью, и помыкают беднягой, которого не боятся. Готовы обожествить друг друга за обед и отравить за перину, если кто-то перебил их цену на торгах. Проклинают саддукея за то, что он редко ходит в церковь, а сами у алтаря подсчитывают свои ростовщические проценты. Становятся на колени, лишь бы расправить свой подол; не сводят глаз со священника, чтобы рассмотреть, как завит его парик. Падают в обморок, увидев, как режут гуся, и хлопают в ладоши, когда соперник уходит с биржи банкротом... А ведь как горячо я жал им руки... «Ещё один день!» Напрасно! «В кутузку этого пса!» Просьбы! Клятвы! Слёзы! *Топает ногой.* Ад и дьявол!

ШПИГЕЛЬБЕРГ. И всё из-за каких-то нескольких тысяч паршивых дукатов...

КАРЛ МООР. Нет, не хочу об этом думать. Я должен

втиснуть тело в корсет, а волю — стянуть законами. Закон заставил ползти улиткой то, что могло бы лететь орлом. Закон ещё не создал ни одного великого человека, зато свобода рождает исполинов и крайности. Они прячутся за брюшиной тирана, угрожают прихотям его желудка и терпят, когда их теснят его ветры. Ах, если бы дух Германа ещё тлел под пеплом! Поставьте меня во главе войска таких же людей, как я, — и Германия станет республикой, рядом с которой Рим и Спарта покажутся монастырями для монахинь. *Бросает шпагу на стол и встаёт.*

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Вскакивает.* — Bravo! Брависсимо! Ты как раз навёл меня на мысль. Я давно хочу кое-что шепнуть тебе на ухо, Моор, и ты мне тут нужен. Пей, брат, пей! Как тебе такое: станем евреями и вновь поднимем вопрос о царстве?

КАРЛ МООР. *Хохочет во всё горло.* — А! Теперь понимаю... Теперь понимаю... Ты хочешь вывести обрезание из моды, раз цирюльник своё дело с тобой уже сделал?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. — Чёрт тебя дери, лежебока! Я и впрямь каким-то чудом уже обрезан. Но скажи: разве план не хитрый и не отважный? Мы разошлём манифест во все концы света и призовём в Палестину всех, кто не ест свинины. А там я докажу вескими документами, что тетрарх Ирод был моим далёким предком, и так далее. Вот будет торжество, дружище, когда они снова обретут свою землю и смогут отстроить Иерусалим! Пока железо горячо — живо гнать

турок из Азии, рубить кедры на Ливане, строить корабли, а всему народу торговать старой тесьмой и пряжками. Тем временем...

КАРЛ МООР. *С улыбкой берёт его за руку.* — Приятель! Пора покончить с этими дурацкими затеями.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Опешив.* — Фу! Только не говори, что вздумал изображать блудного сына! Ты, человек, который шпагой исписал больше лиц, чем три писаря за високосный год испишут страниц в книге приказов! Напомнить тебе историю сдохлым догом? Ха! Стоит мне показать тебе, каким ты был прежде, и в твоих жилах снова вспыхнет огонь, если уж ничто другое тебя не зажигает. Помнишь, как господа из коллегiums велели прострелить лапу твоему догу, а ты в отместку объявил пост по всему городу? Твой указ вызвал недовольство. Но ты не растерялся: велел скупить всё мясо во всём Лейпциге, так что за восемь часов во всей округе не осталось ни косточки, которую можно было бы погрызть, а рыба стала дорожать. Магистрат и горожане замыслили месть. А мы, студенты, выступили — все тысяча семьсот, ты во главе; следом мясники, портные, лавочники, трактирщики, цирюльники и все цехи. Они грозились взять город приступом, если у кого-нибудь из студентов хоть волос с головы упадёт. Всё кончилось, как с пальбой в Хорнберге: магистрату и горожанам пришлось уйти несолоно хлебавши. Потом ты созвал целый собор докторов и предложил три дуката тому, кто выпишет собаке рецепт. Мы думали, у господ хватит

чести отказаться, и уже сговорились их принудить. Но принуждать не пришлось: доктора передрались из-за трёх дука-тов, на торгах цена упала до трёх батценов, и за один час они написали двенадцать рецептов. Вскоре после этого бедная скотина издохла.

КАРЛ МООР. — Подлецы!

ШПИГЕЛЬБЕРГ. — Похороны устроили со всей пышно-стью. Стихов в честь пса насочиняли несметное множество. Ночью нас вышло чуть ли не тысяча: в одной руке фонарь, в другой шпага. Так и шли по городу под звон и бряцанье, пока не предали пса земле. Потом задали пир до самого рассвета. Наутро ты поблагодарил господ за сердечное сочувствие и распорядился продать скупленное мясо за полцены. Клянусь жизнью, мы тогда почитали тебя, как гарнизон взятой крепости почитает победителя...

КАРЛ МООР. — И тебе не стыдно этим хвастаться? Неужели у тебя не хватает стыда, чтобы стыдиться таких вы-ходов?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. — Да брось ты! Ты уже не Моор. Пом-нишь, сколько раз ты с бутылкой в руке поддевал старого скрягу и говорил: пусть скребёт и копит сколько хочет, а ты тем временем пропьёшь себе глотку? Помнишь? А? Пом-нишь? Ах ты, неисправимый, жалкий хвастун! Вот это были слова мужчины и дворянина, но...

КАРЛ МООР. — Будь ты проклят за то, что напомнил! И я проклят за то, что это сказал! Но тогда во мне говорил вин-

ный хмель, и сердце моё не слышало, чем похвалялся язык.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Качает головой.* — Нет, нет, нет! Не может быть. Не может быть, брат, чтобы ты говорил всерьёз. Скажи, братец, это нужда тебя так настроила? Послушай лучше одну историю из моего детства. Возле нашего дома была канава, никак не меньше восьми футов шириной. Мы, мальчишки, наперегонки пытались её перепрыгнуть. Куда там! Плюхнешься в канаву, а над тобой свистят, хохочут и засыпают тебя снежками. Там же, возле дома, жил на цепи охотничий пёс — злющий зверь: стоило девушке зазеваться и пройти слишком близко, он молнией вцеплялся ей в подол. А для меня лучшего удовольствия не было, чем дразнить его при каждом случае. Я чуть не умирал со смеху, когда эта тварь смотрела на меня с такой яростью и рвалась ко мне, да цепь не пускала. И что же? Однажды я снова его дразню и так крепко заезжаю ему камнем по рёбрам, что он в бешенстве срывается с цепи и кидается на меня. Я — со всех ног прочь, быстрее молнии! Тысяча чертей! А поперёк дороги как раз та проклятая канава. Что делать? Пёс уже на пятках, да ещё взбешённый. Тут я мгновенно решил: разбежался — и оказался на другом берегу. Этому прыжку я обязан жизнью; зверюга разорвала бы меня в клочья.

КАРЛ МООР. — К чему ты сейчас об этом?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. — К тому, чтобы ты увидел, как в беде прибавляются силы. Вот почему я не боюсь, даже когда дело доходит до крайности. Отвага растёт вместе с опасно-

стью, сила пробуждается под напором обстоятельств. Судьба, видно, хочет сделать из меня великого человека, раз так упорно преграждает мне путь.

КАРЛ МООР. *Раздражённо.* — Не вижу, для чего нам ещё нужна отвага. Разве мы уже не выказали её вдоволь?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. — Вот как? Ты собираешься дать своим дарованиям сгнить без дела? Зарыть свой дар в землю? Думаешь, твои пакости в Лейпциге — предел человеческой изобретательности? Вот погоди, выйдем в большой мир. Париж и Лондон! Там схлопочешь пощёчину, если назовёшь кого-нибудь честным человеком. Там душа ликует, когда берёшься за наше ремесло с размахом. Ты ахнешь! Глазам своим не поверишь! Погоди, Шпигельберг ещё научит тебя подделывать почерк, мухлевать с игральными костями, взламывать замки и вытряхивать нутро из дорожных сундуков! Всякого мерзавца, который готов умереть с голоду, лишь бы не запустить руку в чужой карман, надо вешать на ближайшей виселице.

КАРЛ МООР. *Рассеянно.* — Что? Значит, ты уже и дальше пошёл?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. — Кажется, ты мне не доверяешь. Погоди, дай только разгореться: чудеса увидишь! Когда мой ум разродится замыслами, у тебя мозги в черепе перевернутся. *Встаёт, распаляясь.* Как светло становится у меня в голове! Великие мысли брезжат в душе! В моём творческом мозгу зреют исполинские планы. Проклятая спячка! *Бьёт себя по*

лбу. До сих пор она сковывала мои силы, заслоняла от меня будущее, стесняла мои замыслы. Теперь я просыпаюсь, чувствую, кто я такой... кем должен стать!

КАРЛ МООР. — Ты дурак. Это вино бахвалится у тебя в голове.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Распалаясь ещё сильнее.* — «Шпигельберг, ты что, колдовать умеешь?» — будут говорить. «Жаль, что ты не стал генералом, Шпигельберг, — скажет король, — ты бы прогнал австрийцев сквозь петлю для пуговицы». «Ах, — услышу я жалобы докторов, — непростительно, что этот человек не изучал медицину: он изобрёл бы новый порошок от зоба!» «Ах, если бы он занялся государственным хозяйством, — вздохнут в своих кабинетах все Сюлли, — он сумел бы превратить камни в луидоры». И имя Шпигельберга зазвучит на востоке и на западе! А вы — в грязь, трусы и жабы, пока Шпигельберг, расправив крылья, взлетает к храму посмертной славы!

КАРЛ МООР. Счастливого пути! Взирайся по позорным столбам к вершине славы. А меня под сенью отцовских рощ, в объятиях моей Амалии ждёт радость куда благороднее. Ещё на прошлой неделе я написал отцу, прося прощения, и не скрыл от него ни малейшей подробности. Где есть искренность, там найдутся и сострадание, и помощь. Простимся, Мориц. Сегодня мы видимся в последний раз. Почта уже прибыла. Отцовское прощение уже в стенах этого города.

Входят Швейцар, Гримм, Роллер, Шуфтерле и Рацман.

РОЛЛЕР. Вы знаете, что за нами следят?

ГРИММ. Что нас в любую минуту могут схватить?

КАРЛ МООР. Ничего удивительного. Будь что будет! Вы не видели Шварца? Он не говорил, что у него есть для меня письмо?

РОЛЛЕР. Он давно тебя ищет. Полагаю, письмо у него есть.

КАРЛ МООР. Где он? Где? Где? *Порывается уйти.*

РОЛЛЕР. Постой! Мы велели ему прийти сюда. Ты дрожишь?

КАРЛ МООР. Я не дрожу. С чего бы мне дрожать? Другзя! Это письмо... Порадуйтесь за меня! Я счастливейший человек под солнцем. С чего бы мне дрожать?

Входит Шварц.

КАРЛ МООР. *Бросается к нему.* Брат, брат, письмо! Дай письмо!

ШВАРЦ. *Подает ему письмо; Карл торопливо вскрывает его.* Что с тобой? Ты белеешь как стена!

КАРЛ МООР. Почерк моего брата!

ШВАРЦ. А что это Шпигельберг вытворяет?

ГРИММ. Парень спятил. Дёргается, будто в пляске святого Вита.

ШУФТЕРЛЕ. У него и мысли ходят кругами. Кажется, стихи сочиняет.

РАЦМАН. Шпигельберг! Эй, Шпигельберг! Не слышит, скотина.

ГРИММ. *Трясёт его.* Ты что, спишь наяву?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Всё это время он в углу комнаты без устали изображал жестами свои замыслы. Теперь он дико вскакивает.* Кошелёк или жизнь! *Хватает Швейцера за горло. Тот невозмутимо отбрасывает его к стене. Карл Моор роняет письмо и выбегает. Все вскакивают.*

РОЛЛЕР. *Бросаясь следом.* Моор! Куда ты? Моор, что ты задумал?

ГРИММ. Что с ним? Что случилось? Он бледен как мертвец.

ШВЕЙЦЕР. Должно быть, прекрасные новости! Дайте взглянуть!

РОЛЛЕР. *Поднимает письмо с пола и читает.*

«Несчастный брат!» Весёлое начало. «Вынужден коротко сообщить тебе, что твои надежды рухнули. Отец велит передать: ступай туда, куда ведут тебя твои позорные дела. И не надейся, говорит он, когда-нибудь вымолить милость у его ног, если только не готов сидеть в самом глубоком подземелье его башен на воде и хлебе, пока волосы твои не вырастут, как орлиные перья, а ногти не станут похожи на птичьи когти. Это его собственные слова. Он приказывает мне закончить письмо. Прощай навеки! Мне жаль тебя —

Франц фон Моор».

ШВЕЙЦЕР. Сладенький братец! Ничего не скажешь! Францем зовут этого мерзавца?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Тихонько подкрадываясь.* О воде и хле-

бе речь? Славная жизнь! А я для вас приготовил кое-что получше. Разве я не говорил, что в конце концов мне придётся думать за всех вас?

ШВЕЙЦЕР. Что несёт этот болван? Этот осёл собрался думать за всех нас?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Зайцы вы, калеки, хромые псы — все до единого, если вам не хватает духу дерзнуть на великое дело!

РОЛЛЕР. Ну, тогда мы и вправду такие, ты прав. Только вытащит ли нас из этой проклятой передраги то, на что ты зовёшь нас отважиться? Вытащит?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Надменно хохочет.* Бедняга! Вытащит из передраги? Ха-ха-ха! Вытащит из передраги? И дальше этого твой ум с напёрсток не заглядывает? На этом твоя кляча и встала? Шпигельберг был бы подлецом, если бы затевал дело только ради этого. Героями, говорю я тебе, баронами, князьями, богами — вот кем вы станете!

РАЦМАН. Всё одним махом — это немало! Но дело, верно, будет такое, что шею сломишь. Головы уж точно лишишься.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Нужна только смелость. Думать я берусь за всех. Смелость, говорю я, Швейцер! Смелость, Роллер, Гримм, Рацман, Шуфтерле! Смелость!

ШВЕЙЦЕР. Смелость? Если нужно только это, я готов бо-сиком пройти сквозь самое пекло.

ШУФТЕРЛЕ. А я готов днём под самой виселицей сцепиться с дьяволом во плоти из-за какого-нибудь бедного

грешника.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Вот это мне по душе! Раз вы такие смелые, пусть кто-нибудь выйдет вперед и скажет, что ему ещё есть что терять, зато приобрести он может не всё на свете!

ШВАРЦ. По правде говоря, я бы многое потерял, если бы потерял всё, что ещё могу приобрести!

РАЦМАН. Чёрт возьми, а я бы многое приобрёл, если бы приобрёл то, чего не могу потерять.

ШУФТЕРЛЕ. Если мне придётся отдать одежду, купленную в долг, завтра мне, пожалуй, и терять будет нечего.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Тогда слушайте! *Встаёт посреди них и говорит заклинающим голосом.* Если в ваших жилах течёт хоть капля немецкой героической крови — идёмте! Осядем в Богемских лесах, соберём там шайку разбойников и... Что вы на меня уставились? Вся ваша храбрость уже испарилась?

РОЛЛЕР. Ты, конечно, не первый плут, кто смотрит дальше виселицы. И всё же... Какой ещё у нас выбор?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Выбор? Что? Да у вас нет выбора! Хотите сидеть в долговой тюрьме и чахнуть там до трубы Страшного суда? Хотите надрываться с лопатой и киркой ради куска сухого хлеба? Хотите выпрашивать скудную милостыню под окнами, распевая уличные баллады? Или хотите присягнуть на барабане, обтянутом телячьей кожей, — если, конечно, с такими рожами вас примут, — и под властью желчного капрала заранее отбыть все муки чистилища? Или шагать под музыку в такт барабану? Или в галерном раю во-

лочить за собой весь железный склад Вулкана? Вот вам весь выбор! Всё, из чего вы можете выбирать!

РОЛЛЕР. А ведь Шпигельберг не так уж неправ. У меня тоже были свои планы, да все в конце концов сводятся к одному. Я вот думал: может, вам усесться, состряпать карманный сборник или альманах, или что-нибудь в этом роде, а потом за денежку строчить рецензии, как нынче принято?

ШУФТЕРЛЕ. Чёрт побери! Почти угадал мой замысел. А я подумал: не податься ли тебе в пиетисты и не устраивать ли каждую неделю назидательные собрания?

ГРИММ. В точку! А если не выйдет — в атеисты! Надаём пощёчин всем четырём евангелистам, палач сожжёт нашу книгу, и её начнут расхватывать.

РАЦМАН. Или отправимся воевать с французами. Я знаю одного доктора, который, как гласит эпиграмма на двери его дома, выстроил дом целиком из ртути.

ШВЕЙЦЕР. *Встаёт и пожимает Шпигельбергу руку.* Мориц, ты великий человек! Или слепая свинья случайно нашла жёлудь.

ШВАРЦ. Превосходные планы! Почтенные занятия! Как созвучны великие умы! Осталось только стать бабами и своднями, а то и выставить на продажу собственную девственность.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Вздор, вздор! А что мешает каждому из вас совместить в себе большую часть этих занятий? Но мой замысел вознесёт вас выше всех. Вдобавок вы получите сла-

ву и бессмертие! Эх вы, жалкие бедняги! Надо заглядывать и так далеко. Думать о посмертной славе, о сладком чувстве, что тебя не забудут...

РОЛЛЕР. И окажетесь во главе списка честных людей! Ты мастер говорить, Шпигельберг, когда нужно превратить честного человека в негодяя. Но скажите наконец, куда пропал Моор?

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Честным, говоришь? Думаешь, после этого ты станешь менее честным, чем теперь? Что ты вообще называешь честностью? Избавить богатых скряг от трети забот, которые только гонят от них сладкий сон; пустить в оборот деньги, лежащие без движения; восстановить равновесие между богатыми и бедными; словом, вернуть золотой век. Помочь доброму Богу отделаться от нескольких докучных нахлебников, избавить его от войн, чумы, дороговизны и докторов — вот что я называю честностью! Вот что значит быть достойным орудием в руках Провидения! А за каждым жарким, которое ты ешь, приятно думать: «Его добыли тебе твои уловки, львиная отвага и бессонные ночи». И заслужить почтение всех, от мала до велика...

РОЛЛЕР. А под конец ещё и взлететь на небо живьём! Качаться там наперекор бурям и ветрам, наперекор прожорливому брюху нашей прабабки Времени, под солнцем, лунной и всеми неподвижными звёздами. Даже неразумные птицы небесные, привлечённые благородным желанием, слетятся дать небесный концерт, а хвостатые ангелы соберут свой

святейший совет. Так ведь? И пока монархов и властителей пожирают моль и черви, удостаиваться визитов царственной птицы Юпитера! Мориц, Мориц, Мориц! Берегись! Берегись трёхногого зверя!

ШПИГЕЛЬБЕРГ. И это тебя пугает, заячья душа? Сколько великих умов, способных переделать мир, сгнило на пустыре у виселицы! А ведь о таком человеке говорят веками, тысячелетиями. Иного короля или курфюрста историк вовсе бы пропустил, если бы не боялся оставить пробел в череде наследников. Да ещё потерять несколько страниц, за которые издатель заплатит ему звонкой монетой. А увидит путник, как ты качаешься на ветру, и проворчит себе в бороду: «Нет, вода у него в голове не плескалась». И вздохнёт о жалких временах.

ШВЕЙЦЕР. *Хлопает его по плечу.* Блестяще, Шпигельберг! Блестяще! Какого чёрта вы стоите и мнётесь?

ШВАРЦ. Пусть даже это назовут позором. Что из того? На такой случай всегда можно носить при себе щепотку порошка: тихонько переправишься через Ахерон, и никто не заметит. Нет, брат Мориц, твоё предложение мне по душе. Так гласит и мой катехизис.

ШУФТЕРЛЕ. Чёрт возьми! И мой тоже. Шпигельберг, ты меня завербовал!

РАЦМАН. Ты, словно новый Орфей, усыпил во мне воющего зверя — мою совесть. Бери меня целиком, каков я есть.

ГРИММ. Если все согласны я не возражаю. Заметьте: без

запятой. У меня в голове созрела затея: пиетисты, шарлатаны, рецензенты и плуты. Кто больше предложит, тому я и достанусь. Вот моя рука, Мориц.

РОЛЛЕР. И ты тоже, Швейцер? *Протягивает Шпигельбергу правую руку.* Тогда и я закладываю душу дьяволу.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. А имя — звёздам! Какая разница, куда отправится душа? Представь: впереди нас мчатся толпы гонцов с вестью о нашем прибытии в преисподнюю. Черти наряжаются, словно к празднику, стряхивают с ресниц тысячелетнюю копоть, и мириады рогатых голов высовываются из дымящих труб серных печей, чтобы увидеть, как мы войдём! Товарищи! *Вскакивает.* Вперёд! Товарищи, что на свете сравнится с таким восторгом? Идёмте!

РОЛЛЕР. Полегче! Полегче! Куда это? Нашему зверю нужна голова, ребята.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Злобно.* Что там проповедует этот копуша? Разве голова не появилась прежде, чем шевельнулась хоть одна конечность? За мной, товарищи!

РОЛЛЕР. Говорю же: не спеши. Даже свободе нужен предводитель. Без главы погибли и Рим, и Спарта.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Вкрадчиво.* Да... постойте... Роллер прав. И голова нужна просвещённая. Понимаете? Тонкая голова, сведущая в политике. Подумать только, кем вы были час назад и кем стали теперь... благодаря одной счастливой мысли... Да, конечно, конечно, вам нужен предводитель. А тот, кто придумал эту мысль, скажите, разве у него не про-

свещённая голова политика?

РОЛЛЕР. Если бы можно было надеяться... хотя бы мечтать... Но боюсь, он не согласится.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. Почему же нет? Говори смелее, друг! Как ни трудно вести корабль против ветра, как ни тяжело бремя венца... Говори без страха, Роллер. Может статься, он всё-таки согласится.

РОЛЛЕР. А если не согласится, всему нашему делу конец. Без Моора мы тело без души.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *С досадой отворачивается от него.*
Болван!

КАРЛ МООР. *Входит в сильном волнении, стремительно ходит взад и вперёд по комнате, говоря сам с собой.*

КАРЛ МООР. Люди... люди! Лживая, лицемерная крокодилья порода! В глазах у них вода, в сердцах — металл! На губах поцелуи, за пазухой мечи! Львы и леопарды кормят своих детёнышей, вороны приносят падаль птенцам, а он, он... Я научился терпеть злобу. Я могу улыбаться, даже когда разъярённый враг пьёт за моё здоровье мою собственную кровь. Но когда кровная любовь становится предательницей, когда отцовская любовь оборачивается мегерой — о, тогда вспыхни огнём, мужское самообладание! Стань свирепым тигром, кроткий агнец! Пусть каждая жилка вздуется от ярости и жажды разрушения!

РОЛЛЕР. Послушай, Моор! Что ты об этом думаешь? Всё-таки разбойничья жизнь лучше, чем хлеб и вода в самом

глубоком подземелье башни.

КАРЛ МООР. Почему этот дух не вселился в тигра, который вонзает бешеные клыки в человеческую плоть? Такова отцовская верность? Так отвечают любовью на любовь? Я хотел бы стать медведем и натравить всех медведей севера на этот смертоносный род! Я раскаялся — и не дождался милости! О, я хотел бы отравить океан, чтобы они пили смерть из каждого источника! Я доверял, я верил всей душой — и не встретил сострадания!

РОЛЛЕР. Да выслушай же меня, Моор!

КАРЛ МООР. Невероятно! Сон, обман... Такая трогательная мольба, такой живой рассказ о беде и раскаянии, изливающимся слезами... Даже лютый зверь смягчился бы от жалости! Камни заплакали бы, а он... Если бы я рассказал об этом, мои слова приняли бы за злобный пасквиль на весь человеческий род. И всё же, всё же... О, если бы я мог протрубить по всей природе призыв к восстанию, поднять воздух, землю и море на битву с гиеньим племенем!

ГРИММ. Да послушай же! В своём бешенстве ты ничего не слышишь.

КАРЛ МООР. Прочь, прочь от меня! Разве ты не человек? Разве тебя не женщина родила? Прочь с глаз моих вместе с твоим человеческим лицом! Я любил его так, что и словами не сказать! Ни один сын не любил так. Я отдал бы за него тысячу жизней... *В бешенстве топает ногой.* Ах! Кто дал бы мне сейчас меч, чтобы нанести этому змеиному отродью

пылающую рану! Кто указал бы, куда разить, чтобы сокрушить, уничтожить самое сердце его жизни! Тот стал бы мне другом, ангелом, богом — я буду ему поклоняться!

РОЛЛЕР. Такими друзьями мы и хотим тебе стать. Дай же нам себя убедить!

ШВАРЦ. Пойдём с нами в Богемские леса! Соберём разбойничью шайку, а ты... *Моор пристально смотрит на него.*

ШВЕЙЦЕР. Ты будешь нашим атаманом! Ты должен стать нашим атаманом!

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Яростно бросается в кресло.* Рабы и трусы!

КАРЛ МООР. Кто подсказал тебе это слово? Слушай, парень! *Крепко хватаят Роллера.* Оно не могло родиться в твоей человеческой душе! Кто подсказал тебе это слово? Да, клянусь смертью с тысячью рук, этого мы и хотим, это мы и должны сделать! Такая мысль достойна поклонения! *Разбойники и убийцы!* Клянусь жизнью моей души, я ваш атаман!

ВСЕ. *С шумными криками.* Да здравствует атаман!

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Вскакивает, себе под нос.* Пока я не помогу ему отправиться на тот свет!

КАРЛ МООР. словно пелена с глаз упала! Каким же я был дураком, когда хотел вернуться в клетку! Душа моя жаждет дела, дыхание — свободы. «Убийца! Разбойник!» С этими словами я растоптал закон. Я взывал к человечности, а люди скрыли её от меня. Прочь же сочувствие, прочь жалость к людям! У меня больше нет отца, больше нет любви.

Кровь и смерть заставят меня забыть, что мне когда-либо было что-то дорого! Идёмте, идёмте! О, я найду себе страшную забаву! Решено: я ваш атаман! И пусть повезёт тому из вас, кто яростнее всех жжёт и свирепее всех убивает: он получит царскую награду. Подойдите все ко мне и поклянитесь в верности и повиновении до самой смерти! Поклянитесь, подав мне правую руку.

ВСЕ. *Подают ему руки.* Клянёмся тебе в верности и повиновении до самой смерти!

КАРЛ МООР. А теперь этой правой рукой я клянусь до самой смерти оставаться вашим верным и стойким атаманом! Кто хоть раз струсит, усомнится или отступит, того эта рука тут же уложит мёртвым! Пусть любой из вас сделает со мной то же самое, если я нарушу клятву! Согласны? *Шпигельберг в ярости мечется взад и вперёд.*

ВСЕ. *Вскидывают шляпы.* Согласны!

КАРЛ МООР. Тогда в путь! Не бойтесь смерти и опасностей: над нами властвует неумолимая судьба! Для каждого однажды настанет его день — на мягкой пуховой подушке, в жестокой гуще боя, на виселице или на колесе, на глазах у всех! Что-нибудь из этого выпадет и нам!

Уходят.

ШПИГЕЛЬБЕРГ. *Смотрит им вслед; после паузы.* В твоём перечне пробел. Ты забыл яд. *Уходит.*

Сцена третья.

Замок Мооров. Комната Амалии.

Франц. Амалия.

ФРАНЦ. Ты отводишь глаза, Амалия? Неужели я меньше заслуживаю твоего внимания, чем тот, кого проклял отец?

АМАЛИЯ. Прочь! Ах, какой любящий, милосердный отец — отдаёт сына на растерзание волкам и чудовищам! Дома он пьёт сладкое дорогое вино, нежит свои дряхлые кости на подушках из гагачьего пуха, а его прекрасный, славный сын терпит лишения. Стыдитесь, бесчеловечные! Стыдитесь, драконы души, позор человеческого рода! Ведь это его единственный сын!

ФРАНЦ. Мне казалось, у него два сына.

АМАЛИЯ. Да, он заслужил таких сыновей, как ты. На смертном одре он тщетно протянет иссохшие руки к своему Карлу и в ужасе отпрянет, нащупав ледяную руку Франца. О, как сладко, как восхитительно быть проклятым твоим отцом! Скажи, Франц, любящий брат, что нужно сделать, чтобы он тебя проклял?

ФРАНЦ. Ты бредишь, милая. Мне тебя жаль.

АМАЛИЯ. О, прошу тебя... Тебе жаль твоего брата? Нет, чудовище, ты его ненавидишь! Ведь и меня ты ненавидишь?

ФРАНЦ. Я люблю тебя, как самого себя, Амалия.

АМАЛИЯ. Если любишь, ты ведь не откажешь мне в одной просьбе?

ФРАНЦ. Ни в одной, ни в одной! Если только она не потребует больше, чем моя жизнь.

АМАЛИЯ. О, тогда вот просьба, которую тебе будет так

легко, так приятно исполнить. *Гордо.* Ненавидь меня! Я бы покраснела от стыда, если бы, думая о Карле, вдруг вспомнила, что ты меня не ненавидишь. Обещаешь? А теперь уходи и оставь меня. Мне так хочется побыть одной!

ФРАНЦ. Милая мечтательница! Как я восхищаюсь твоим нежным, любящим сердцем! *Постукивает ей по груди.* Здесь, здесь Карл царил, словно бог в своём храме. Карл стоял перед тобой наяву, Карл властвовал в твоих снах. Казалось, всё мироздание сливалось для тебя в нём одном, отражало его одного, звучало для тебя его голосом.

АМАЛИЯ. *Взволнованно.* Да, это правда, я признаюсь. Назло вам, варварам, признаюсь перед всем светом: я люблю его!

ФРАНЦ. Какая жестокость, какая бесчеловечность! Так отплатить за эту любовь! Забыть её...

АМАЛИЯ. *Вспыхнув.* Что? Забыть меня?

ФРАНЦ. Разве ты не надела ему на палец кольцо? Бриллиантовое кольцо в залог верности! Впрочем, как юноше устоять перед чарами потаскухи? Кто его осудит, если больше ему нечего было отдать? Да и разве она не заплатила ему с лихвой своими ласками и объятиями?

АМАЛИЯ. *Возмущённо.* Моё кольцо — потаскухе?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.